

МЕЖДУ ВОДОЙ И НЕБОМ

Рассказы

В сухом остатке

Дача большая и очень старая. Чуть ли не середина девятнадцатого века. Доски, которыми она обшита, давно почернели от старости, от сырости, и кое-где на них завелись бледно-зелёные лишайники. Половицы в доме скрипят, мыши под ними шуршат, а за стеной, в гостиной, древние настенные часы перед тем, как пробить, хрипят так, что хочется встать, пойти и вытащить их из петли. В таких местах хорошо мечтать о том, чего с тобой не было и быть не могло. Сидишь на веранде с кружкой остывшего чая в руках, отгоняешь от себя комаров веткой бузины и представляешь...

...как приходят крестьяне жаловаться на управляющего, как есть он мироед и не разрешает косить траву на пустоши, которую они испокон веку всем обществом косили, копнили, стоговали и в этих стогах с девками, не при барыне будь сказано... еще при блаженной памяти императоре Александре Втором... а он велел их прогнать, не император, а управляющий, и для того вызвал из уезда пристава и казаков с нагайками... и девок портит. Не император, Царствие ему небесное, а управляющий, и дочь кучера взял к себе в дом и живет с ней во грехе... срамота, да и только. Мужики ломают давно нестиранные негнувшиеся шапки и армяки, бабы заламывают руки, и все хором гнут спины и шаркают лаптями по навощенному паркету...

...как приходит Прасковья, вдова Анфима, кучера, помершего от белой горячки лет десять тому, и говорит, что вчера ночью позвал ее голос выйти на двор по малой нужде. Она подумала, что это Анфим с того света зовет ее, и вышла, и обнаружила в зарослях моркови существо вроде годовалого ребенка с очень тоненькими ручками, ножками и непомерно большой головой и огромными зелеными светящимися глазами. Зрачки у него были не круглые, как у людей, а щелочками и горизонтальные, как у козы. Ходил он между морковной ботвы и пищал, да так пронзительно и противно, что Прасковья сразу поняла, что он голоден. Кормила она его сваренным вкрутую и мелко порубленным яйцом, творогом и кислым молоком, потому как от обычного молока Алешеньку слабило. Назвала она его Алешенькой. Живет он у Прасковьи уже второй месяц. Тихий, не пьет, не дерется, как покойный Анфим. Только по ночам не спит. Заберется на крышу, лапку свою свернет вроде подозрной трубы, приставит к глазу и все смотрит, смотрит на звезды... Починил ей грабли и рукой снял мигрень у нее и у коровы Зорьки. Прасковья хочет его усыновить и отписать на него избу, Зорьку, теленка Андрюшу и кошку Лукерью, потому как она одна на всем белом свете и сродственников не имеет. Не кошка, а Прасковья. Лукерья с Алешенькой часто разговаривают, но о чем они мяукают, Прасковья понять не может, как ни старается. Одна беда – сельский батюшка отец Никодим стыдит ее и говорит, где это видано, чтобы на чертенка отписывать...

Михаил Бару родился в 1958 году в Киеве. Окончил Российский химико-технологический университет в Москве. Химик и инженер, кандидат технических наук. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Знамя», «Новая Юность» и др. В «Волге» публикуется с 1999 года. Автор нескольких книг стихов и прозы. Составитель первой российской антологии хайку и трехстиший «Сквозь тишину» (2006). Живет в Москве.

...как стоят под раскрытым в сад окном Алешенька вместе с Лукерьей и предлагают деньги, чтобы выкупить Прасковью, Зорьку и Андрюшу на волю. Хотят они улететь на родину Алешеньки. То есть улететь у них пока вряд ли получится, потому как тарелка Алешеньки разбилась при посадке, но они решили идти к краю земли, а там, на краю, может и видно будет.

...как трется о ногу кошка Лукерья и мяучит, а о чем она мяучит...

...как приходят крестьяне, шапок и армяков не ломают, с вилами наперевес. Траву они уже скосили и грозятся извести на дрова рощу, беседку, дачу, управляющего, дочку кучера, которая живет с ним который год и куда хуже самого управляющего, и трех их выблядков, и даже твою тещу Аглаю Викентьевну, которую... ладно, так и быть, но беседку и дачу...

...как не приходит никто, а только жена велит идти переодеваться к обеду, потому как она терпеть не может турецких халатов за столом, а на обед у вас рыбная солянка из судака, осетрового балыка горячего копчения и раковых шеек. Астраханский балык, маслины и каперсы купили позавчера в городе. лимон жена вырастила на подоконнике, а за раками и судаком посылали кухарку к вдове местного дьячка, Раисе, которая самый удачливый на всю деревню и даже на всю волость рыбак и может ловить рыбу чуть ли не на голый крючок, потому как она, и это известно даже теленку Андрюше, ведьма и может приманивать не то что безгласных раков или судаков, а и собак, и птиц, и людей, не говоря о каких-нибудь божьих коровках или муравьях. Про нее ходят разные слухи. Большею частью нехорошие. Раиса женщина красивая, статная, с толстой косой и ямочками на всегда румяных щеках. Мужчин, к примеру, она может заставить кружить вокруг своей сторожки хоть час, хоть два, хоть ночь напролет, пока ей самой не надоест. Еще и напустит дождь или снег, если зима на дворе. Везде солнце, а вокруг ее дома льет как из ведра или метет метель, и мужик бедный ходит и ходит как заведенный. Споткнется, упадет, встанет и снова идет, не чуя под собой ног. Семейных к ее дому жены близко не подпускают или велят обходить десятой дорогой, а неженатых... Однажды зимой пропали без следа почтальон вместе с ямщиком и тремя тюками почты. Лошадей потом нашли за три версты от Раисиного дома, а они со страху двух слов... Рыба, однако, и раки у нее всегда только что выловленные, продает она их недорого, никогда не торгуется, а послать за ними можно и кухарку.

В третьем часу ночи тишина вокруг такая, какая бывает только тогда, когда летишь где-нибудь в межгалактическом пространстве, в анабиозе, в гипотермии, и до выхода из подпространства еще сто или даже двести световых лет и... все равно не спится. Уже все передумаешь, и перетревожишься обо всех близких, далеких и даже тех, кого никогда в жизни не увидел и не увидишь, когда передумаешь даже то, о чем вообще не нужно было думать... и тогда с самого дна, из-под коры, от каких-то старых, замшелых извилин, почти превратившихся в прямые, от каких-то заросших мхом и затянутых паутиной закутков и загогулин начинают подниматься давно забытые стихи, молитвы, заклинания вроде не дай мне бог сойти с ума, или не выходи из комнаты, не совершай ошибку, или остави нам долги наши якоже и мы... или я не участвую в войне – она участвует во мне... На этом месте можно перестать ворочаться с боку на бок, включить свет, встать и идти на кухню капать в рюмку валокордин или коньяк, который лучше капать в стакан.

Быть непризнанным гением просто и удобно. Не нужно ходить по редакциям и предлагать свои рассказы, романы или, не дай бог, стихи. Ты просто знаешь и очень твердо знаешь, что они еще сто раз пожалеют, что отказались взять то, что ты им побоялся, так и не собрался принести,

еще будут на коленях ползать всем своим нобелевским комитетом и умолять взять медаль, еще напишут сто диссертаций, посвященных твоему роману. Ни к чему все эти встречи с читателями в районных библиотеках, первые туры премий, вторые туры премий, финалы, фуршеты, дешевое сухое вино в пластиковых стаканчиках, тарталетки с икрой минтая, сплетни, интриги, обиды маленькие, побольше, большие, преогромные, жгучие, трофические, написанные на лице, ядовитые укусы и долго не заживающие раны, в которые другие писатели норовят насыпать соли. Непризнанному гению достаточно прийти в какую-нибудь рюмочную или пивную с другом или с сослуживцем, встать у липкого столика, залитого пивом и засыпанного рыбьей чешуей, отхлебнуть треть кружки, закурить, выпустить дым и сказать:

– Если бы ты знал, старик, какой рассказ я написал вчера ночью...

И, не дожидаясь ответа, вытереть мокрые от пивной пены пальцы треугольной салфеткой из серой оберточной бумаги, достать из внутреннего кармана сложенные вдвое листки, развернуть их и начать читать:

– Бабье лето – это смесь еще теплого с еще мягким. К нему нужны тонкие блюда вроде конфи из утиной ножки с томлеными апельсинами или из кролика с розмарином, имбирем и яблочным пюре, а к ним груша сорта анжу, сваренная в красном вине с гвоздикой, бадьяном, корицей и парой горошинок перца, чтобы оттенить сладость груши. Женщина, которая подойдет к таким блюдам, должна быть тоже тонкой, с горошинкой перца, с легкими медовыми и миндальными нотками, как выдержанное шабли или Cotes du Rhone с фруктовым ароматом и вкусом лесных ягод на полных чувственных губах. Такая женщина может наколоть на вилку кусочек груши, посмотреть в окно на спешащих куда-то прохожих, на желтеющие деревья, на ворону, одиноко сидящую на ветке, и сказать: «Как лист увядший падает на душу...». Бабье лето – это послевкусие от ее слов, которые катаются на твоём языке как горошины перца с легкими медовыми и миндальными нотками.

После первого абзаца друг или сослуживец* достанет из рта обглоданный хребет воibly, посмотрит на него внимательно и произнесет задумчиво:

– А ведь ты прав. Вобла эта два раза умерла – первый раз, как поймали, а второй – месяца три назад. Вон какая желтая и на вкус прогорк... Ты продолжай, продолжай. Начало у тебя вышло интригующим. Особенно это место, где про смесь теплого с мягким на полных губах. Сейчас только возьмем еще по кружке и по беляшу.

Ты дочитаешь свой рассказ до конца, съешь беляш, допьешь пиво, попрощаешься и пойдешь домой в полной уверенности, что рассказ получился не хуже, чем у самого Чехова, не говоря о Куприне или Горьком, потому что пока ты читал, к тебе прислушивались два человека – какой-то алкаш с седой клочковатой бородой и в засаленной шапке «петушок» за соседним столиком и уборщица, размазывавшая грязь по полу шваброй с намотанной на нее серой тряпкой. Алкаш даже перестал допивать пиво из оставленных кем-то кружек, а уборщица замерла, и только ее швабра поминутно дергалась, совершая короткие судорожные движения.

Пройдет год, два, три... Начнет темнеть. Ты наконец соберешься с духом и отнесешь в редакцию то, что написал, ридил в муках, тебе нащептал голос или даже Голос (нужное подчеркнуть). Сначала в одну, потом, осмелев, в другую, потом в третью, и даже в четвертую. Тебя станут печатать. Сначала в заводской многотиражке, потом в тонком журнале, потом в журнале потолще, потом дадут премию. Не первую, но и не последнюю. Начнут приглашать в районные и даже областные библиотеки почитать, на фуршеты с дешевым красным вином в пластиковых стаканчиках, тарталетками с тресковой икрой и литературными сплетнями. В конце концов признают, но... не признают гением. Тебе приготовят место в треть... нет, во втором ряду – не вольтеровское кресло, конечно, но и не приставной стул. Ты бы уже сел на него и не стоял в проходе, но ты все стоишь и не то чтобы всем, но самому себе точно мешаешь. Ты представлял себе лавровый венок, а оказалось, что это десяток засушенных листиков в бумажном пакетике. Как раз на кастрюлю с супом.

Вот тут-то и начинается непростое, неудобное и неинтересное. Пьяные разговоры за полночь с такими же как ты писателями, вопросы «а он кто такой, а она кто такая, да они чужих на пушечный выстрел... это волчья стая, а не жюри литературной премии...», обиды маленькие, побольше, большие, преогромные, жгучие, трофические, написанные на лице, упреки, обращенные к жене, редакциям, издательствам, комитетам литературных премий и даже к самому себе. Можно было бы вообще пойти по торговой части и теперь, вместо того чтобы... Еще и перечитаешь рассказ, который раньше был не хуже, чем у Чехова, а теперь и до Горького едва-едва... Кончится все тем, что устанешь стоять в проходе и пойдешь садиться на приготовленное тебе место. Будешь сидеть и делать вид, что опоздал к раздаче мест, что присел всего на минутку, пока твое место в первом ряду... но в рюмочную или пивную тебе вход не закрыт. Придешь туда с другом или с сослуживцем, встанешь у липкого столика, залитого пивом и заспанного рыбой чешуей, отхлебнешь треть кружки, закуришь, выпустишь дым и только откроешь рот, чтобы... как во внутреннем кармане куртки зазвонит телефон, и жена скажет:

– Иди уже домой, Хемингуэй. Капусту купи по дороге и пару морковок.

*Можно в рюмочную или пивную пойти вместе с таким же непризнанным гением как ты сам, но он читать не даст, а после первой же фразы или даже до нее, скажет:

– Ты лучше послушай, что я написал...

Лучше всего красоту цветущей орхидеи, ее томные лепестки с тонкими нервными капиллярами прожилок, ее нежно-фиолетовый цвет беспричинной хандры ниоткуда, хандры не от худа и не от добра с привкусом белого вина, птифуров с кофейным кремом и терпким запахом Dior Addict, но не тех, которые с бурбонской ванилью, а тех, которые с белым мускусом, оттеняет раннее, еще полутемное мартовское утро, с его морозом, с его пушистым снегом, бесконечно идущими из еще не погашенных с ночи фонарей, с бесконечно идущими прохожими в пуховиках и толстых вязаных шапках, с металлическим скрежетом лопаты дворника, с криками детей, которых взрослые тащат в детские сады, с хриплым карканьем ворон, с постоянным гудением лифта за стеной, с хлопаньем дверей, с запахом подгоревшей яичницы, с овсяной кашей, которую нужно быстро запихнуть в себя, одеваться и бежать к остановке автобуса, чтобы ехать на работу.

Дождь идет и идет, не останавливаясь ни на минуту – холодный, противный весенний дождь, на который лучше всего смотреть через окно. В почти пустом маленьком кафе тепло, жужжит, шипит и шумно дышит кофемашина. Бариста время от времени постукивает по столу металлической кружкой со взбитым молоком, и еле слышно играет такая же бесконечная, как и дождь, музыка. Мужчина за столиком у окна срезает ножом завиток взбитого крема со своего пирожного и намазывает на ломтик шоколадного кекса, лежащий на тарелке его спутницы. Она улыбается ему благодарно и чуть застенчиво. Ты отламываешь один или два квадратика от плитки шоколада с белыми грибами и мускатным орехом, кладешь их в рот, делаешь глоток эспрессо и думаешь:

– А говорят, на рубежах бои...

В списке евреев города Баргузин и баргузинской округи за 1892 год встретился мне человек по имени и фамилии Лейба Калека. Сначала я представил его толстым, румяным и веселым,

любящим выпить и закусить, но потом прочел, что род его занятий хлебопашество, и понял, что толстым он вряд ли был. Так и вижу его сеятелем с развевающейся бородой и пейсами. Со стороны Байкала дует баргузин, семена ржи относит в сторону, и они застревают в его бороде. Его лошадь, как это принято у евреев, вечно с ним спорит, советует не сеять против ветра и вообще вдоль, а не поперек, и считает, как и жена Лейбы Фира, что нужно наняться рабочим на золотые прииски, а не заниматься вот этим вот всем с плугом, семенами, озимыми и каменной землей. Лейба злится на нее, спрашивает какого черта она с ним увязалась сеять, кто ее просил. Осталась бы дома и помогала Фире по хозяйству. Лошадь его не слушает и продолжает говорить, говорить...

Случайно попалась мне на глаза фотография Клайва Стейплза Льюиса в рабочем кабинете, и вдруг страшно захотелось быть английским писателем и жить в мирное время или, по крайней мере, в длинном промежутке между войнами. Захотелось носить твидовый костюм-тройку кофейного или оливкового цвета и чтобы на письменном столе возле пишущей машинки лежали, как у настоящего курильщика, две вересковых трубки, чтобы пахло от меня табаком Dunhill и любимым древесным фужерным ароматом Яна Флеминга Floris №89, чтобы стол был завален папками с рукописями и выписками из справочников и энциклопедий, чтобы кабинет был заставлен книжными шкапами, чтобы шкафы были забиты старинными фолиантами в переплетах из телячьей кожи. Захотелось быть профессором с ученой степенью и преподавать английскую или любую другую литературу, жить в собственном доме с небольшим садиком, но не в деревне, пусть даже и английской, а в Оксфорде или Кембридже, чтобы все в доме ходило на цыпочках, пока я с шести утра и до завтрака, и после завтрака до чая со сливками, бисквитами и сэндвичами с холодным ростбифом, маринованными огурцами-корнишонами и дижонской горчицей буду работать над новым историческим романом или антиутопией. Захотелось перед обедом выпивать рюмку испанского хереса, а после обеда уходить в кабинет пить кофе с коньяком, курить трубку и писать чернильной ручкой с золотым пером длинные письма таким же как я английским писателям. Захотелось в письмах развивать какие-нибудь философские или политические теории, ругать правительство и парламент, давать им ценные советы, которые потом войдут в пятнадцатый или даже девятнадцатый том собрания сочинений. Захотелось сказать жене: «Надоел мне до чертиков этот отель на Майорке с вечно подвыпившими соотечественниками. Давай махнем куда-нибудь в Южную Африку или в Аргентину, или купим тур в Антарктиду. Твою норковую шубу в Англии не выгулять – загрызут защитники животных, а там, среди айсбергов, русских нуворишей, немецких и американских пенсионеров...», но... черт догадал меня с душой и талантом родиться там, где я родился. Жизнь оказалась длиннее промежутка между войнами, или промежуток оказался слишком короток. Испанского хереса, английского табаку, не говоря об английском парфюме, теперь в магазинах не сыщешь, ценные советы правительству, парламенту, ругань в их адрес, политические теории могут вписать в протокол, и за них придется заплатить, а за ругань заплатить в двойном размере. Впрочем, теперь могут выписать штраф и за просто открытый рот, потому что неизвестно, чем ты этим открытым ртом собираешься заниматься – то ли считать ворон, то ли откусить хлеба с салом и соленым огурцом, после того как выпьешь водки, то ли наговорить такое, за что и оштрафовать мало. Коттеджа и садика у нас нет, Антарктида отпадает, потому как у жены норковой шубы нет. По принципиальным соображениям, а не то, что вы подумали. Короче говоря, ни к чему нам Антарктида. Вот Турция или Грузия... Без садика тоже обойдемся – ближе к лету вырастим на подоконнике помидоры черри, огурцы, баклажан, мяту для чая и гиацинты. Нет, у меня, конечно, есть мешки под глазами, ученая ступень и вересковая трубка, но этого маловато для того, чтобы почувствовать себя насто-

ящим английским писателем хотя бы на час после обеда. Тем более что курить я давно бросил. Одно хорошо – не нужно писать никакой антиутопии, поскольку мы в ней живем. Впрочем, и с написанием утопий лучше не связываться. Томас Мор, как известно, плохо кончил. Лучше сразу переходить к историческому роману.

По-настоящему Россию с ее бесконечной зимой, лихим человеком посреди ледяной пустыни, с ее печным теплом, с ее жандармами, обедами, ложащимися комом в желудке, после которых чувствуешь в себе тяжести на пуд больше, с ее Петрушками, всегда носящими с собою какой-то свой особенный воздух, отзывающийся несколько жилым покоем, с ее провинциальными гостиницами, щами с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких недель, с ее мадерой, беспощадно заправленной купцами ромом, а то и царской водкой, в надежде, что русские желудки все вынесут, сосисками с капустой, которой по всем коридорам так несет, что береги только нос, с ее попечителями богоугодных заведений, унтер-офицерскими вдовами, норвящими сами себя высечь, с ее судьями, берущими взятки борзыми щенками, с ее прокурорами, ворочающими во все стороны бровями, с ее Белинским наконец, Гоголь никогда не любил. По-настоящему он любил только Италию – эту родину его души, с ее ласковым теплом, безоблачным серебристо-голубым небом, нежным шелковым воздухом, с ее спагетти, сваренными до состояния *al dente*, с ее кьянти, с ее лазаньями и пармезаном, с ее золотистым шафранным ризотто с мидиями и лангустинами, с ее только что вынутыми из печи огнедышащими пиццами и уютными пьядцами, украшенными фонтанами и фонтанчиками, живописными нищами, живописно просящими подаяния, и русскими живописцами, пишущими портреты этих нищих, с ее неприбранными античными развалинами, обломками беломраморных и порфирных колонн, увитых плющом, картинами Рафаэля, церквями, в которых только и молятся по-настоящему, а не показывают вид, с ее итальянцами, «которые первый народ в мире», а немцы после них «со всею их мелкою честностью и эгоизмом» кажутся такими гадкими... Он даже писал то ли Аксакову, то ли Киреевским, то ли всем им вместе про то, что черт догадал его родиться в Полтавской губернии с талантом, несварением желудка и геморроидальными запорами, вместо того чтобы родиться в Риме или в Неаполе или, на худой конец, в Баден-Бадене. Россию Гоголь любил только ту, которую сам и выдумал из головы – и птицу-тройку, и коней с медными грудями, и разорванный в куски воздух, и бойкий народ, и землю, что не любит шутить, и даже другие народы и государства, которые косясь, посторониваются и дают ей дорогу. Нет, они, конечно, косятся, но так, чтобы посторониться и дать дорогу...

Всю ночь мела метель. Под утро проснулся, стал смотреть в окно на вихри и рои вылетающих из туч снежинок, на конусы голубого и желтого света от уличных фонарей, в которых они пляшут до изнеможения, прежде чем упасть на землю, на сугроб на крыше трансформаторной будки, на засыпанные снегом машины во дворе, на дворника с лопатой, занятого сизифовым трудом, и думать о том когда наконец закончится все то, что ничем хорошим закончиться не может, а если не закончится, то что делать – смиряться под ударами судьбы, иль надо оказать сопротивление, но прежде принять таблетки, сдать анализы и с ними пойти к врачу. И получить больничный на неделю... нет, лучше на две и лечь в постель или залезть под плинтус, чтобы уснуть и видеть сны? Вот в чем вопрос...

Меня всегда интересовали детали. Уже в пятом классе средней школы, когда мы начали изучать историю Древнего мира, я вдруг понял, что меня интересуют больше всего не пирамиды, не грандиозные храмы, не завоевательные походы фараонов, а быт древних египтян – чем питались, что носили, в каких домах жили, как ловили рыбу в Ниле, как готовили пойманных на охоте уток, на каком масле жарили яичницу из крокодильих яиц и о чем думали, когда ложились спать. О чем разговаривали перед тем, как закрыть глаза. Жаловались ли на жару, на маленькую зарплату, на отсутствие бесплатных обедов на строительстве гробниц в Долине Царей и на мозоли, натертые новыми сандалиями. О чем думал фараон перед тем, как заснуть – о том, что жрецы плетут интриги, что царица рождает каждый год девочек или о том, что завтра встать ни свет ни заря и идти в поход против гиксосов или хеттов.

О чем думал, засыпая, средневековый монах – переписчик, к примеру «Географии» Страбона. О чем он размышлял, прикрыв покрасневшие от напряжения за день глаза – о дальних странах, которые он никогда не видел, или о людях с песьими головами или совсем без головы, с глазами на груди, которых он сам же и выдумал из головы, или об Индии, которая в те времена была восточным краем ойкумены, или о крае земли, на котором стоит преогромная гора, с вершины которой можно дотянуться до низко висящих звезд или ухватить за хвост небольшую комету, или о том, что бобы и чечевица стоят поперек горла, что хочется съесть целиком зажаренного каплуна, а потом замаливать этот грех, что пропущен твердый знак в слове песьеглавцы, что нужно его как-то втиснуть, но как... что яйца и сыр нужно ждать до субботы, что монашки соседнего монастыря...

О чем думал, падая вечером от усталости на лавку, черносошный крестьянин, в деревню которого пришли царские писцы и давай описывать все подряд – и трех кур, и тощую корову, и курную избу, и коровья ржи, и коровья овса, и огород, на котором, кроме репы, капусты и гороха, ничего толком и не росло, потому что зима семь месяцев в году, и паханную землю, и непаханую, и покосы, и каждую копну сена, и пятеро детей, и кошку, и собаку... Ничего он долго не думал, а только успевала мелькнуть в его голове мысль о том, что хорошо бы улететь отсюда за тридевять земель в тридевятое царство... или дать денег подьячему, чтобы записал он земли не столько, сколько есть на самом деле, а...

О чем думали мои бабушка, дедушка и мама, ложась спать двадцать первого июня сорок первого года в Киеве. Маме было пять лет, и она который день подряд думала о кукле, которую ей обещал купить мой дедушка. О чем думала бабушка, работавшая медсестрой в больнице... Наверное, о том, что лето жаркое, о новых туфлях, на которые денег нет и неизвестно когда будут, о вечной игле для примуса, о том, как хорошо было бы переехать из полуподвальной комнаты, в которой они жили, на второй или даже на третий этаж... Точно знаю, о чем она не думала – о том, что через пять месяцев получит похоронку на мужа, погибшего где-то в районе Чернигова, о том, что следующие четыре года они с мамой проведут в эвакуации на Урале, о том, что одна из ее сестер вместе со всей своей семьей погибнет в Бабьем Яру, о том, что ровно в четыре утра Киев станут бомбить.

О чем думали немецкие летчики, ложась спать пораньше, чтобы проснуться часа в два, получить свои полетные задания, на которых обозначены мосты, военный аэродром и заводы и полететь в Киев, до которого часа полтора лета. Может, и вовсе не ложились спать, а сидели, пили свой кофе, курили сигареты «Oberst» и думали о том, как отоспятся после возвращения в расположение своего полка или эскадрильи, о целях, которые им предстояло бомбить, о том, что привезут из России в подарок жене и детям, о Киеве, который представлялся им... бог знает как он им представлялся. Точно знаю, о чем они не думали – о моей бабушке, о моем дедушке и о моей маме, которым придется выбегать на улицу в чем мать родила и прятаться от зажигательных и фугасных бомб, падающих с безоблачного неба.

Если разобраться, то ничего в сухом остатке от этого весеннего дня не останется – ни шума ветра, ни больших и маленьких парусов на горизонте, ни солнечных бликов на воде, ни барашков на волнах, ни холодных пузырьчатых брызг, ни вкуса кофе на губах, ни запаха духов, ни книги на коленях, ни негромких слов, ни улыбки, ни мелькания руки, поминутно поправляющей растрепанные ветром волосы, ни теплого шерстяного запаха большой серой шали, только лет двадцать или тридцать спустя, на каком-нибудь семейном празднике или юбилее, окруженный родственниками, детьми и внуками, поднимая рюмку водки перед тем, как сказать тост, вдруг поймешь, что все могло быть иначе, если бы тогда... и закашляешься, поперхнувшись водкой. Жена постучит тебя по спине, ты вытрешь выступившие слезы и попросишь передать тебе сеledку с луком.

Сидишь на берегу под ивой, между водой и небом, уминаешь в трубке, перед тем как закурить, пахнущий медом и черносливом темно-золотой табак, смотришь на воду, на плывущий по ней бело-голубой теплоход и думаешь о том, что весной даже ручьи текут в дальние страны, а уж про реки и говорить нечего. Там, вдали, за поворотом, должно быть вовсе не Конаково и даже не Кимры, а какой-нибудь Занзибар или Таити. К вечеру, когда стемнеет, причалит теплоход к острову, поросшему пальмами, оливковыми деревьями и бугенвиллеями. Туристов на лодках переправят на берег, где их встретят мужчины в накидках из дубленых буйволиных шкур и женщины в набедренных повязках из травы, в бусах из окрашенных семян тамаринда и ореховых скорлупок, в перьях райских птиц. До самого утра островитяне будут перед гостями петь, плясать, бить в большие и маленькие барабаны, звенеть браслетами на руках и ногах, кормить их запечеными в кокосовых сливках молочными поросятами и поить брагой из забродивших плодов хлебного дерева, а утром с большими головами, измученные похмельем туристы приплывут в Кимры и будут умирать от жажды, слушая экскурсовода в местном краеведческом музее. Кроме тех, кто запутается в зарослях травы набедренных повязок и не сможет вернуться на борт... Все это, однако, там, за поворотом, а здесь в котелке жена варит уху из подлещиков и карасей, которых сама же и наловила за час на почти голый крючок, в том смысле, что она на него только полевала. Здесь у нее на гриле запекаются баклажаны с чесноком, медом и мелко порубленной петрушкой. Здесь плавает в садке вместе с карасями бутылка настойки на черносмординовых почках и еще две бутылки темного портера притаились в багажнике машины. Таити, Таити... Не были мы ни на каком Таити. Нас и здесь неплохо кормят, а если жене еще и купить бусы не из семян тамаринда и ореховых скорлупок...

Накануне Старого Нового года зашел в маленькую рыбную лавку. Продащица, после того как я оплатил свою покупку, поздравила меня с наступлением праздника, а когда я ее ответно поздравил и пожелал всего наилучшего в новом году, сказала:

– Вы ведь празднуете, да? – и сама ответила – Правильно делаете. Это наш, настоящий русский праздник, а не тот, который нам навязали.

– Кто нам навязал? – осторожно спросил я.

– Запад, – отвечала она. Наш настоящий Новый год наступит только завтра, а не две недели назад. Пора возвращаться к нашим корням. К славянским.

Мое молчание она истолковала как знак согласия и предложила мне черную икру со скидкой, а когда я поблагодарил и отказался, сказала:

– Зря вы не берете. Скидка очень хорошая по случаю Нового года. Две недели была и завтра кончается. Все берут. Всего восемь тысяч. Ну, как хотите. Еще раз с наступающим.

Семья писателей. Жена – маленькая, хрупкая женщина-прозаик, состоящая из одних углов, с энергией ядерного реактора на быстрых нейтронах. Муж – детский поэт, большой, мягкий, плюшевый увалень, который, несмотря на свои размеры, полностью умещается под острым каблуком своей супруги, которая каждый год выдает на гора по толстому женскому роману, которые муж, перерабатывая тысячи тонн словесной руды, день и ночь редактирует, успевая при этом варить манную кашу двум близнецам – дочери и сыну трех лет, вытирать им носы и рассказывать сказки, которые сам же и сочиняет. Толстые романы жены пользуются бешеным успехом. Женщины над ними плачут, мужчины млеют над изысканными эротическими сценами, а критики хвалят за тонкий психологизм с пряными нотками истерии и горького одиночества. Она что ни день дает интервью, ведет еженедельную передачу о писателях «Пусть пишут», заседает в жюри литературных премий, успевая при этом заводить бесчисленные романы с писателями, художниками, кинорежиссерами и даже содержать одного непризнанного и никого не признающего поэта, в котором есть что-то сильное, могучее и медвежье, как в чеховском Дымове, но без медицинского образования. Мужа своего она давно не любит. Ей часто снится, как она уходит от него – непременно босая и непременно по снегу, но даже во сне она понимает, что успехом своих романов, которые на самом деле не столько ее, сколько его... и с неистовой силой изменяет ему снова и снова. Романы ее становятся все толще, все тоньше в них психологизм, и нотки истерии сливаются в один протяжный вой и нестерпимо горчат одиночеством. Непризнанному поэту она страшно надоедает, и он бросает ее ради какой-то грубой и вульгарной кассирши из супермаркета, отвратительно пахнущей приторными духами. Проходит несколько лет, потом еще несколько и еще лет пять или шесть. Она становится брюзгой, толстеет и уже начинает прикладывать к бутылке и транквилизаторам, как вдруг ей присуждают Нобелевскую премию по литературе. Муж страшно рад, пишет жене Нобелевскую лекцию и выбирает жене платье. Жена смотрит на все эти приготовления совершенно равнодушно и даже с отвращением. Она теперь не просто не любит своего мужа – она его ненавидит за то, что ей приходится получать его Нобелевскую премию, за то, что он все эти годы терпел ее, прощал измены, растил детей, редактировал, а фактически переписывал ее бездарные скучные романы, не устраивал скандалов, ни разу не поднял на нее руку, и даже сейчас ни слова упрека, ни... Она, наверное, была бы рада, если бы он избил ее сейчас, но он только спросил, что брать из ее вещей и в какой чемодан складывать. В ночь перед вручением премии, уже в стокогльмской гостинице, прислушиваясь к тому, как тихонько сопит муж на другом краю широкой, как шестиполосное шоссе, кровати, она встает, берет свою подушку, бесшумно обходит кровать и...

Утром в номер долго стучит прислуга, а потом, когда его открывают ключом администратора гостиницы, видят на смятой постели мертвого мужчину, мертвецки пьяную женщину, мычащую что-то нечленораздельное и размазывавшую пьяные слезы по морщинистому лицу. На суде она молчала, за нее говорил ловкий и красноречивый адвокат, логически доказавший, что преступление было следствием воспаления мозга, начавшегося задолго до ночи в отеле, благодаря неумеренному употреблению алкоголя вкуче с транквилизаторами. В тюрьме, в которую ее посадили на восемь лет, с учетом смягчающих обстоятельств, выисканных где-то за большие деньги адвокатом, она написала автобиографический роман. Критики его ругали за отвратительный слог,

но читателям они не смогли этого объяснить, и потому роман выдержал два или три издания. Женщины над ним плакали, а мужчины...

Поэт среди поэтов напоминает еврея в Израиле.

Идешь по улице Луначарского, смотришь на серую, полинявшую, точно с креста снятую Климентовскую церковь, на обветшавшие дома девятнадцатого века, на окна с фикусами, алоэ, орхидеями, геранями и розами в горшках, на палисадники возле этих домов с буйно цветущими мальвами, шарами гортензий, гладиолусами, левкоями, флоксами и бархатцами, на заросли топиамбура, вылезавшие за покрашенный синий краской штакетник, на заколоченные двери парадных подъездов, на держащиеся на честном слове ставни, на закрытую железную дверь магазина «Пирог» с полинявшей вывеской, которую, кажется, лет десять никто не открывал, на хорошо оштукатуренное, побеленное и покрашенное здание Торжокской межрайонной прокуратуры, занимающее памятник архитектуры второй половины девятнадцатого века, на мезонины купеческих домов, увешанные ржавыми тарелками телевизионных антенн, на оббитое унылым пластиковым сайдингом кафе «Надежда», в котором можно пообедать борщом, солянкой, пожарскими котлетами и мясом в горшках, на обвалившуюся затейливую лепнину старинного полуразрушенного особняка, на гипсовую женщину с лирой в руках, изо всех сил старающуюся не выпасть из ниши на втором этаже, и думаешь – стал бы ты радоваться, если бы все здесь было ухожено, оштукатурено и покрашено, если бы кресты на Климентовской церкви были позолочены, если бы колокольный звон на всю улицу, если бы в магазине «Пирог» торговали горячими пирогами, калачами, расстегаями с рыбой и ватрушками величиной с тарелку, если бы на открытой веранде кафе «Надежда» сновали половые и разносили бы карамельные латте, чизкейки, пышущие жаром пожарские котлеты, обложенную льдом зернистую икру в вазочках и запотевшие графины с водкой, если бы из какого-нибудь открытого окна доносились звуки рояля и кто-то приятным баритоном пел бы «Однозвучно гремит колокольчик», если бы... Нет, не стал бы. Если бы знать почему...

Идешь по улице Луначарского в Торжке, смотришь на серую, полинявшую, точно с креста снятую Климентовскую церковь, на обветшавшие дома девятнадцатого века, на окна с фикусами, алоэ, орхидеями, геранями и розами в горшках, на палисадники возле этих домов с буйно цветущими мальвами, шарами гортензий, гладиолусами, левкоями, флоксами, левкоями, золотыми шарами, флоксами, бархатцами, на буйные заросли топиамбура, вылезавшие за покрашенный синий краской штакетник, на заколоченные двери парадных подъездов, на держащиеся на честном слове ставни, на закрытую железную дверь магазина «Пирог», на хорошо оштукатуренное, побеленное и покрашенное здание Торжокской межрайонной прокуратуры, занимающее памятник архитектуры второй половины девятнадцатого века, на мезонины купеческих домов, увешанные тарелками телевизионных антенн, на оббитое унылым пластиковым сайдингом кафе «Надежда», в котором можно пообедать борщом, солянкой, пожарскими котлетами и мясом в горшках, но отчего-то не хочется, на обвалившуюся затейливую лепнину старинного полуразрушенного особняка, на гипсовую женщину с лирой в руках, изо всех сил старающуюся не выпасть из ниши на втором этаже, и думаешь – стал бы ты радоваться, если бы все здесь было ухожено, оштукатурено и покрашено, если бы кресты на Климентовской церкви были позоло-

чены, если бы колокольный звон не только малиновый, но и клубничный, если бы в магазине «Пирог» торговали горячими пирогами, калачами, расстегаями с рыбой и ватрушками, если бы на открытой веранде кафе «Надежда» шустрые половые разносили бы карамельные латте, чизкейки, ботвиньи, румяных молочных поросят с хреном и обложенную льдом зернистую икру в вазочках, если бы из открытых окон доносились звуки рояля и кто-то приятным баритоном пел бы «Однозвучно гремит колокольчик»... Конечно, стал бы. Наверное, даже посидел бы на открытой веранде с карамельным латте и поросенком. Потом расплатился бы и... пошел обратно, домой – к заколоченным дверям парадных подъездов, к зарослям топинамбура, к падающей гипсовой женщине и к снятой с креста Климентовской церкви. Почему обратно? Если бы знать почему. Как там у Бунина: «В силу чего русской душе так мило, так отрадno запустение, глушь, распад?» Может, поэтоmu, или...

Земляничное варенье, хотя и близкий родственник клубничному, все же от него отличается. Клубничное, к примеру, можно намазать на булку. С земляничным так не поступишь. Даже если булку предварительно намазать толстым слоем сливочного масла, и то... Нет, земляничное нужно есть маленькой серебряной ложечкой, доставшейся по наследству от бабушки или прабабушки, из миниатюрной розетки тонкого костяного фарфора, на дне которой в самых мелких подробностях нарисованы незабудки, ландыши и сцены из жизни бабочек, муравьев и стрекоз. Клубничное варенье идет женщинам одомашненным и одомашнивающим, сладким, пахнущим сладкими духами, умеющим варить борщ, печь пирожки с ливером, ватрушки, и плачущим над стихами о несчастной любви. Клубничное едят после обеда за разговорами о засолке огурцов, о новых шторах в спальню и о том, как поднялись цены на все и особенно на увлажняющий крем для рук. Земляничное – это женщины дикие, даже когда выглядят вполне одомашненными, пахнущие пряностями, попутным ветром, дальними странами, польнью, нагретыми солнцем лесными полянами, губами, перепачканными земляникой и приключениями на искусанные муравьями и комарами... Земляничное варенье едят за яростными спорами о предметах неважных и ненужных вроде реминисценций в прозе Набокова, или о теории фрустрации, о том, чем она отличается от прострации, галлюцинации и дегустации, или вообще не едят, а застывают с поднесенной ложкой к закрытому наглухо рту, долго смотрят в окно на серые мышинные сумерки, на крупные капли дождя, сползающие по стеклу, на блестящие от воды листья деревьев, на едущие по лужам машины, а потом говорят:

– Уже поздно. Завтра на работу рано вставать. Как я устала от этих умных рассуждений о фрустрации... Выдумали ее на наши головы... Слово-то какое – точно картон жуешь. Во рту от него пересохло. Кажется, у нас оставался коньяк. Ты вот что. Налей мне и сходи-ка в продуктовый. Купи полкило телячьих сарделек, селедки, сыра с голубой плесенью, маслин... Если не будет селедки – возьми граммов триста килекпряного посола, пачку вологодского сливочного масла и багет. К чаю... ничего не бери – у тебя коньяк, а у меня целая банка земляничного варенья. Разрежу багет вдоль, намажу его маслом, а сверху вареньем. Не копайся, иди быстрее, а я пока нажарю картошки.

Когда приступаешь к написанию текста, поиск слов для первых двух или трех предложений напоминает геологоразведку. Слов пять или шесть можно просто подобрать из тех, что валяются под ногами, а вот остальные придется выкапывать из земли и даже вырубать из скальной поро-

ды. Может быть, придется заложить шурф, выгрести из него не один кубометр словесной руды, тщательно ее просеять и убедиться в том, что найденные слова не те, которые нужны, и вообще шурф заложен не в том месте. Бывает так, что найденные по отдельности слова почти подходят, но начинаются не с той буквы, или их окончания таковы, что не подходят к приставкам следующих за ними слов, или вовсе относятся к совершенно другому тексту, который ты и не думал начинать писать, но... выбрасывать их в отвалы жалко. Тогда откладываешь в сторону уже связанные между собой на живую нитку первые несколько слов, начинаешь писать другой текст и... все повторяется с самого начала.

Сидишь на балконе, смотришь на догоревший закат над озером, на подмигивающие катерам и яхтам бакены, на горы белоснежных, сиреневых, мандариновых, жемчужно-серых, опалово-дымчатых облаков, на их отражения в сонной воде, на мерцающие огоньки на том берегу, на синеющую на глазах бледно-розовую полоску неба над почерневшим и помрачневшим лесом, на лодку с застывшим в ней рыбаком, на облепленный водорослями, ракушками и очумело ползающими раками сырнй круг луны, медленно и тяжело поднимающийся из глубины, слушаешь пронзительные, проникающие как ранение, крики вечно голодных чаек, остервенело его клюющих, пока он не успел подняться высоко в небо, хриплое, сгущающее сумерки, карканье ворон, швейное таракхтение лодочных моторов, плеск рыбы, округлое кваканье лягушек, колокольчиковый женский смех, с журчанием переливающийся из пустого в порожнее, невыносимо тонкое зудение комаров, и думаешь о том, что все слова и все составленные из них простые, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, все причастные и деепричастные обороты, все полуобороты и даже четверть обороты, все эпитеты, все метафоры, все анафоры и все эпифоры, которые ты сейчас выдумал из головы, должны будут встать в бесконечную очередь, начала которой не увидеть, как ни подпрыгивай, а вслед за ними мгновенно пристроятся десятки, сотни и тысячи чужих слов и предложений, которые будут кричать: куда вы лезете, мы с прошлого года здесь стоим, и на нас даже не взглянули, всем только показаться... и это при том, что очередь выбрана правильно и можно хотя бы через двадцать или даже через пятьдесят лет достояться, а не попасть в макулатуру или на книжную полку какой-нибудь районной больницы или гостиницы и там заплесневеть между двухтомной энциклопедией кашля, пособием по борьбе с кабачками на садовом участке и романом о трудной судьбе сельской библиотекари, разлюбившей женатого секретаря райкома партии... а потому ты вздыхаешь, потом еще раз вздыхаешь, поднимаешься и идешь в комнату пить сухое красное вино и закусывать тамбовским окороком, черным хлебом, арбузом, конфетами курага в шоколадной глазури и рассказами Чехова.

Усадьбе без малого две с половиной сотни лет. Построил ее для своей молодой жены екатеринский генерал. Не просто генерал, а генерал-аншеф и сенатор в придачу. Его жена была моложе мужа на семнадцать лет. Она, по ее собственным словам, генерала не любила, но вышла за него единственно потому, что он был человек мягкий, добродушный и из него можно было вить не только веревки, но и самые тонкие веревочки и даже связывать их в узлы, если с утра встанешь не с той ноги или шлея попадет под хвост. При этом не теряя к мужу уважения. Так бывает не только с генерал-аншефами, но и с... да с кем угодно может случиться.

Как бы там ни было, а генерал молодую жену любил, а поскольку был не просто богат, а очень богат и владел поместьями и крепостными крестьянами то ли в двух, то ли в трех губерниях, то

решил подарить ей усадьбу. Не просто усадьбу, а целый дворцово-парковый комплекс и объект культурного наследия федерального значения, как теперь принято выражаться. Построил он ее в одном из своих имений, аккуратно на пути из Москвы в Петербург или из Петербурга в Москву. Была у генерала тайная надежда, что императрица, случись ей проехать из старой столицы в новую и обратно, остановится в усадьбе отдохнуть, выпить чашку кофею с густыми деревенскими сливками и отведать какого-нибудь нежнейшего бланманже с только что собранной земляникой, которое по такому случаю приготовит специально выписанный из Петербурга повар, и прогуляться по парку, опираясь на руку хозяина усадьбы.

Строили усадьбу одиннадцать лет пять архитекторов, и вышла не просто усадьба, но архитектурная жемчужина. Тут тебе и трехэтажный барский дом, каждый этаж которого равен двум, а то и трем сегодняшним, и четыре огромных флигеля, в одном из которых был кабинет генерала с его архивом, в другом оранжерея с арбузами, дынями и персиками, в третьем домашний театр, в четвертом – каретный сарай, и посреди огромного двора, окруженного колоннадой, фонтан с наядами, а вокруг всего этого – огромный английский парк, со множеством уединенных павильонов для любовного шепота, гротов для страстных объятий, беседок для нежных вздохов и нескромных поцелуев в самых укромных уголках, с четырьмя каскадными прудами, а на самом большом пруду остров, на котором, по преданию, сам генерал-аншеф посадил сосну.

Окончание строительства праздновали на широкую ногу, и не на одну. Гостей понаехало... В усадебном театре каждый день представляли то «Бригадира» Фонвизина, то «Венецианскую монахию» Хераскова, глядя на которую дамы обливались слезами, то балет «Тщетная предосторожность», то живые картины с пастухами и пастушками, а то просто кавалеры шли за кулисы и там, с крепостными актерками... Лакеи сбивались с ног, разнося по садовым беседкам мороженое, фрукты и французское шампанское.

Через две недели праздник кончился и все разъехались. Генерал, который к тому времени стал генерал-губернатором сначала одной из южных губерний, а потом одной из северных, уехал к месту службы, а жена за ним. В новой усадьбе она бывать не любила – больше жила в подмосковном имении. Когда генерал через двенадцать лет умер, окончательно переехала в свое подмосковное имение, а в этом больше не появлялась. Архитектурная жемчужина стала стареть, ветшать и осыпаться. Жемчуг, как известно, жив, пока его носят, а если лежит без дела... Усадьба переходила по наследству, ее продавали и перепродавали. Ей было трудно найти хозяина – так же как трудно бывает очень красивой женщине выйти замуж. При советской власти в ней сначала устроили картинную галерею, потом колонию для несовершеннолетних, потом военный госпиталь, потом турбазу, потом профилакторий, потом пионерлагерь, потом бутик-отель, потом он прогорел...

Теперь в заброшенной усадьбе само собой устроилось место для печальных размышлений. Бродишь по парку среди вековых лип, представляешь себе галантных офицеров в треуголках с золотым позументом, статских в бархатных кафтанах и фраках, дам в атласных и парчовых робах, украшенных кружевами и лентами, их неторопливые разговоры о недавнем возвращении императрицы из Крыма, о начавшейся войне со Швецией, о том, что Турция и Франция дают деньги Швеции, чтобы та воевала с Россией, о том, что Англия и даже Пруссия... о том, что с Турцией вот-вот начнется... о морских сражениях, об артиллерийских дуэлях, о рекрутских наборах, ставших почти ежегодными, о том, что... и думаешь о том, когда же все это наконец закончится – и война, и сражения, и артиллерийские дуэли, и разговоры о них, и рекрутские наборы, и похоронки, и похоронки, и похоронки...

Еще всюю цветут георгины, задумчиво покачивая своими лохматыми фиолетовыми, желтыми, розовыми и белыми головами, но уже горько пахнет опавшей листвой, и ее легкий и сухой

шорох забирается внутрь, под одежду, и там рассыпается на тысячи мурашек, еще вы пьете чай на открытой веранде, но официант уже приносит жене плед, еще ты по привычке заказываешь шардоне к щучьим котлетам, но уже понимаешь, что лучше бы водки, еще сумерки и не начинали синеть, но уже чернеют, еще по дорожкам парка ходят, катаются на самокатах и бегают, но в черной темноте за черными деревьями уже прячутся черные руки, горят черные костры и светятся невидимым черным светом черные глаза. Еще вы идете по этим дорожкам, еще держитесь за руки, еще болтаете и смеетесь, как вдруг откуда-то сбоку, из зарослей бузины, выкатывается вам под ноги черное колесико...

Последними отцветают хризантемы и бархатцы. За ними только падающие листья, рыжие сосновые и лиственничные иголки, разбитые на тысячу мелких осколков сны и слова в этих снах, которые можно было бы не говорить, а просто повернуться и медленно уходить куда глаза глядят, пока тебя не остановят и не скажут:

– Мужчина, это не вы слезинку обронили? Вот эту, крошечную? То есть как не вы, а вон та женщина? Я же вижу – она маленькая, мужская и очень скупая. Вы мне не рассказывайте. Женские совсем другие – раза в три крупнее и горячие, а ваша даже сухой лист не смогла зажечь... Мужчина, вы руками-то не машите. Просыпайтесь и ступайте себе домой. Конечная, приехали. Трамвай в депо идет. Выпьют, понимаешь, а потом руками махать...

Семена в пакетиках с картинками

Дедушка мой по папиной линии, был мужчиной крупным, с такой же крупной головой, бритой наголо. Эта привычка брить голову осталась у него еще со времен гражданской войны. К семидесяти годам волос на его голове почти не осталось, но дед каждое утро тщательно водил по остаткам щетины электробритвой «Харьков». В хорошем настроении и мне разрешал поводить. Я водил с удовольствием, держа бритву двумя руками и командуя деду, куда ему наклонять голову. А в один прекрасный день я решил посмотреть – каким винтиком эта бритва жужжит...

Дед был красным кавалеристом в отряде Щорса. Воевал храбро, за что имел наградную саблю в ножнах с серебряными накладками. Само собой, я живо интересовался дедушкиными подвигами. Вот только раскрутить дедушку на воспоминания было трудно. Обычно, начав рассказывать про какую-нибудь кавалерийскую атаку, дед умудрялся засыпать в самом интересном месте. У меня вообще создалось впечатление, что после команды «Эскадро-о-он! Шашки наголо!» красные конники обычно кемарили в седлах. Я начинал отчаянно тормозить дедушку, требуя продолжения. Дед с трудом разлеплял глаза и продолжал уже совершенно с другого места:

– И крови натекло...

– Полные штаны, – заканчивала появившаяся в дверях бабушка. – Хватит ребенку голову морочить всякими россказнями. Лучше сходите на рынок.

Надо сказать, что бабушка не очень любила дедушкино революционное прошлое. Как-никак у ее родителей до всей этой заварухи в семнадцатом году была сапожная мастерская с наемными сапожниками, а у дедушки только одиннадцать братьев и сестер в деревне Дубровка. Бабушка говорила, а я не мог, не хотел поверить, что дед вовсе не собирался воевать ни за красных, ни за белых. Он, вместе со своим закадычным дружкой, Колькой Левченко, достаточно успешно прятался и от тех, и от других, пока их все же не забрали в солдаты красные. Мало того, бабушка, следуя непогрешимой женской логике, обвиняла деда и в том, что он после войны незамедлительно демобилизовался, а Колька остался в армии и дослужился до генерала. Зато у дедушки

были настоящие шрамы от сабельных ударов, и он мне давал их потрогать. Еще один такой, так и не заживший шрам на старом-престаром кухонном буфете мне показала бабушка. При этом она громким шепотом добавила, что если бы ей собрались ставить памятник за проявленное мужество и героизм при несении семейной службы, то уж памятник этот был бы... величиной с огромную дулю, которую показал ей дед, появившийся в этот момент на кухне с корзиной, а правильнее сказать с кошелкой, для похода на рынок.

И мы отправились на рынок. Немного отойдя от дома, мы встретили моего друга, Петьку Немировского. Петька слонялся возле дома, и лицо его было опухшим от слез. Руками он страдальчески потирал известное место пониже спины. Всего за одну карамельку, которую ему предложил дедушка, Петька поведал нам страшную историю своих злоключений. Мenee чем за полдня он был выпорот дважды. С утра пораньше они со старшим братом Сёмкой убежали без спросу купаться на речку. Поскольку дети не явились к завтраку (а что может быть страшнее, когда в еврейской семье дети голодают более часа кряду?), то были подняты по боевой тревоге родственники и соседи. Беглецы были незамедлительно найдены, накормлены и выпороты. Сёмка смирился, осознал и обещал, что больше никогда. Но не таков был Петька. Петька решил страшно отомстить. План мести созрел мгновенно, под ударами отцовского ремня. Петька исхитрился вырваться и выбежать на улицу. Он бежал по улице и кричал страшное. Самое страшное, что он знал про своего отца. «Мой папа по ночам слушает по радио Израиль!» – кричал еврейский Павлик Морозов шести лет отроду.

А на дворе стоял июнь шестьдесят седьмого года. Шестидневная война была в разгаре. Мы, дети, мало что понимали во всех этих событиях. Ясно было только одно – «наши» показывают арабам кузькину мать. Правда, «наше» радио об этом молчало, но другое «наше» говорило во весь «Голос Израиля», который и слушал по ночам Петькин отец. И не он один. Помню, что встречаясь с друзьями мы, наслушавшись обрывков кухонных бесед взрослых, в качестве приветствия закрывали один глаз рукой, как «стервя одноглазая», Моше Даян, о котором ходили легенды, что он бывший офицер советской армии и Герой Советского Союза.

Но я отвлекся. Петька бежал по улице и кричал то, что кричал. За ним бежал отец с ремнем, а за отцом мать, умоляя пощадить этот позор семьи, этого агента КГБ, чтоб только он был здоров. Соседи разных национальностей, все как один проходившие по той же статье обвинения, что и Петькин папа (если не «Голос Израиля, так «Голос Америки»), глядя на эту сцену, вытирали слезы, выступившие от смеха. Не прошло и трех минут, как Петька был пойман, взят с вывертом за огромное, как будто предназначенное для таких целей, ухо и уведен для повторной порки. После принесения страшной клятвы на верность родителям, его под ответственность и сердечный приступ бабушки выпустили погулять с глаз долой во дворе.

Мой дедушка, сурово выслушав Петькину исповедь, сначала показал Петьке свой пудовый кулак, потом дал ему на прощание еще одну карамельку, и мы пошли дальше.

Дойдя до рынка, мы первым делом зашли к дедушкой в полутемный и пыльный ларек с названием «Сортсемоощ», в котором торговал один из многочисленных дедушкиных знакомых, а по совместительству еще и двоюродный дядя моей мамы, Пинхас Нейтерман, называемый друзьями просто Пиня. Он продавал семена в красивых пакетиках с картинками. Мне эти пакетики, правда, без семян, иногда выдавали за хорошее поведение. Хорошо вести себя было несложно. Надо было только соблюдать ритуал посещения «Сортсемооща», который включал в себя извлечение Пиней из-под прилавка бутылки с вином и немедленное распитие части ее содержимого, буквально по полстаканчика за здоровье присутствующих. После чего дед и Пиня некоторое время задумчиво нюхали эти самые пакетики с семенами, а дед еще и приговаривал, строго глядя мне в глаза: «Помалкивай, чохотка!» Я и помалкивал себе в тряпочку, а точнее, в вожеленный пакетик, которым незамедлительно награждал меня Пиня. Следовал пятиминутный разговор, по-видимому, о погоде, видах на урожай, ценах и городских сплетнях. Я говорю «по-видимому», потому что разговор, естественно, велся на идиш, и из него мне были понятны только ненароком

выскакивавшие русские слова известного свойства, о которых я, естественно, и знать не знал, и слыхом не слыхивал. Иногда случалось так, что третьим заходил Филька – шумный, тощий старик, вечно размахивавший руками. Филька (уж и не знаю, каким было его полное имя – Филипп или Филимон) был родом из России, судьба занесла его в Новоград-Волынский уже после войны. На пенсии ему не сиделось, и он служил кучером в местной музыкальной школе. В связи с этим обстоятельством дедушка всем намекал, что у него есть «своя рука» (а точнее – «свой кнут») в музыкальной школе. С Филькой, по-видимому, обсуждались новости из мира музыкальной культуры. Я опять говорю «по-видимому», так как... и Филька свободно говорил на идиш, несмотря на свое совершенно славянское происхождение. В конце концов мне надоедало чувствовать себя иностранцем, я дергал деда за рукав, и мы выходили на крохотную рыночную площадь за покупками. Запасаясь провизией, дедушка не забывал представлять меня каждому продавцу, с которым он был знаком, а знаком он был со всеми, включая бегавших по рынку бездомных собак. Такие представления оканчивались вручением мне то яблока, то груши, то газетного кулька с моими любимыми жареными семечками. Фрукты я давал нести деду, а семечки начинал немедленно грызть, что, строго говоря, было наказуемым бабушкой деянием. Семечками можно было перебить себе аппетит перед обедом, а что может быть страшнее этого для еврейского ребенка, вне зависимости от его комплекции?

Эскимо и триста граммов буженины

На перроне станции «Дегунино» стоит миниатюрная девочка лет десяти или около того, походя на стрекозу-переростка, с огромным розовым рюкзаком, на котором висят на веревочках разноцветные плюшевые мишки, и взволнованно говорит в телефон:

– Представляешь, Наташка вчера пришла в облегающем платье!

В вагон электрички на станции Лианозово вошел седой лохматый старик с палкой и сказал:

– Я недавно вернулся из зоны. Квартира пустая, холодильник пустой. Помогите кто чем может.

Когда ему подавали, он благодарил и добавлял:

– Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил...

– Ты в сахарнице смотрела? – спросил мужчина.

– Да, – ответила женщина, – Там его тоже нет. Да я и не клала его туда. Перед тем как чистить рыбу, сняла и положила в шкатулку для колец. В сахарнице лежат серьги, которые ты обещал починить еще полгода назад.

– И в лекарствах нет? И в ящике для белья? – не унимался мужчина.

– Нет, – сказала женщина. – Я везде смотрела. Даже в ящике с твоими носками.

Она вздохнула и стала смотреть в окно автобуса.

– У собаки ты спрашивала?

– Сам у нее спроси. Прямо сейчас возьми и спроси.

– А могло так случиться, – сказал мужчина, – что ты надела его на один из тех пальцев, которыми редко пользуешься, и просто забыла о нем?

– Господи... – строго сказала женщина, взяла мужчину за руку и положила ее к себе на колени.
– Я же не говорю: специально, – продолжал мужчина. – Чисто случайно. С кем не бывает.
– Следующая остановка улица Пестеля. Конечная, – сказал репродуктор. Женщина взяла на руки таксу, мужчина надел внушительных размеров рюкзак, и они пошли к выходу.

Утром в электричке Савеловского направления между станциями «Дегунино» и «Лианозово» показывали и продавали «новую турецкую коллекцию кашемировых палантинов из натурально-го хлопка». Мужчина, сидевший напротив меня, купил. Не знаю куда он в половине восьмого ехал или откуда возвращался. Перед тем как купить палантин с красными птицами на черных ветках, он два раза сказал кому-то по телефону: «Я не пил», причем второй раз с видимым раздражением. Судя по его лицу и по цвету этого лица, он соврал как минимум раза три или четыре. Перегаром пахло даже от его кожаного портфеля.

– У меня меланхолия, – сообщила своему спутнику высокая статная женщина, поедая эскимо на палочке.

Ее спутник – небольшого роста мужчина, из тех, которых относят к классу гастроподов или, проще говоря, брюхоногих, посмотрел на нее испуганно и начал втягивать довольно большую голову в неширокие плечи.

– Сашуль, – сказала женщина, хищно облизав ярко покрашенные полные губы. – Ну что ты... Она доброкачественная. Иди, купи еще эскимо и триста граммов буженины. Не куском – нарезкой.

...я ему и говорю: «Зачем, спрашивается, ты ни с того ни с сего сбрил бороду? Ты у жены спросил? Поздравляю! Теперь ты похож на свою маму».

Секретарь Союза писателей Москвы, в шестом году оформлявшая мне бумаги для вступления в Литфонд, спросила:

– Михаил Борисович, вы кто?

– То есть как кто? – переспросил я.

– Поэт или прозаик? – ответила секретарь.

Я смутился, совершенно некстати вспомнив известное: «Сказать: «Я – писатель» – это все равно что сказать: «Я – красивый», покраснел, побледнел, раскрыл рот, потом закрыл, потом снова открыл и, наконец, пролепетал:

– Я – поэт*.

Вот так оно все и начинается.... Потом, по пьянке, будешь бить себя в грудь и кричать: «Я – поэт! Слышите? Вы слышите, суки?!» Потом брезгливо тыкать пальцем в чужие стихи, сердиться и кричать, как Ионыч, неприятным голосом:

– Это что? Это стихи? Это стихи?! Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!

*Меня принимали в писатели по классу скрип... как поэта. Прозаиком и переводчиком я стал позже, по собственной инициативе.

В который раз позвонили телефонные мошенники. Девушка представилась сотрудником Сбербанка, назвала свое имя и фамилию и вкрадчивым голосом спросила:

– Михаил Борисович, уделите мне пару минуток вашего времени?

Настроения разыгрывать, ругать последними словами и посылать куда подальше не было – я просто нажал на красную кнопку и заблокировал этот номер. Пожаловался жене, что житья нет от этих непрошенных звонков. По мне так они из мошенников уже превратились в террористов. Дожили... В нашем детстве такого и в помине не было. Да и телефоны были далеко не у всех. Какой уж тут терроризм. Жена подумала, улыбнулась загадочно и сказала:

– У нас телефон был.

Во втором классе приходила к ней домой подружка, и, когда дома не было родителей, они в составе преступной группы из двух человек звонили по выдуманным из головы номерам, представлялись сотрудниками жилконтор и велели ничего не подозревающим людям срочно наполнять ванны и ведра водой, потому как обещают с минуты на минуту отключить воду.

Какую страну мы... Не говоря о детстве.

Человек я малообщительный и совершенно не страдаю от того, что не вращаюсь в литературных кругах. К тому же у меня не очень хороший вестибулярный аппарат, и от вращения кружится голова. В обществе писателей, не говоря о поэтах, я чувствую себя неловко. Оно мне напоминает общество людей, объединенных... нет, если так сказать, то это будет обидно. Скажу как-нибудь по-другому. Собираются, скажем, люди, страдающие... так еще обиднее. Лучше приведу пример. В начале семидесятых, когда мне было лет пятнадцать или около того, мы поехали из Серпухова с родителями в Москву, смотреть спектакль «Тевье-молочник». Тогда еще никакого ленокмовского спектакля и в помине не было. Это была труппа, если мне не изменяет память, московского еврейского театра «Шалом». Дело было летом и ставили спектакль в каком-то саду. Мы сидели в первых рядах, мама все время озиралась по сторонам и говорила папе тревожным шепотом: «Смотри сколько евреев. Откуда они все взялись. Просто удивительно». Папа ей отвечал, что ничего удивительного нет. Было бы удивительно, если бы вокруг были одни казахи или узбеки, а евреи... Мама не унималась: «Мне кажется, что нас здесь всех специально собрали, чтобы переписать и сообщить по месту работы. Наверняка среди зрителей есть люди в штатском. Я уже жалею, что поддалась минутной слабости и купила билеты». Она еще что-то шептала папе на ухо, но папа сказал, чтобы мама прекратила и смотрела спектакль, тем более что он был очень хорошим и веселым. Насколько «Тевье-молочник» может быть веселым, конечно.

Вот это чувство тревоги и неловкости я все время испытываю в обществе писателей. Вроде ничего постыдного в том, что ты ев..., то есть писатель, нет, но... Писателям, на самом деле, еще хуже, чем евреям – у них нет Израиля, в котором все писатели или поэты. Им совершенно некуда уехать и потому приходится образовывать диаспоры в стране, где их угораздило родиться с душой и талантом. Иногда это даже не диаспоры, а просто споры, унесенные ветром в какой-нибудь глухой на оба уха райцентр или поселок городского типа.

С некоторых пор начинаешь чувствовать, как с каждой написанной страницей и даже с каждым новым предложением уменьшается шагреневая кожа твоего писательства. Сначала пропадают стихи. Конечно, они не сразу пропадают, а постепенно, но за несколько лет пропадают все. Поначалу ты их еще пишешь внутри головы, но они рождаются или недоношенные, или со врожденными пороками, чаще всего неизлечимыми, или вовсе мертвые. Ты выбираешь из них то, что может пригодиться в прозе, а остальное выбрасываешь из головы, как мусор. Проходит какое-то время, и ты сразу начинаешь думать прозой, а стихи... Бог знает, где они. Может в голове человека, которому они совершенно без надобности и занимают место совершенно необходимых дифференциальных уравнений второго порядка или квартальных отчетов. Где-нибудь в одном из дальних углов или в лабиринтах извилин твоей головы хранятся умершие еще до рождения метафоры, аллюзии, синекдохи, из которых должны были развиться, но... не развились и остались какими-то окаменевшими икринками. Почему так происходит... Может, состарились и умерли какие-то нужные для писания стихов нейроны, и оттого разрушились синаптические связи, или связи остались, но не хватает нейромедиаторов, передававших стихотворные импульсы, и тут хоть ешь глутамат или дофамин с серотонином столовыми ложками – ничего не поможет. Может, это возрастное или атеросклеротическое...

Потом начинает уходить проза. Как раз перед этим пропадают ключи, проездные билеты, телефон, а пропавшие очки даже не отвечают на звонки. Сначала думаешь про себя – писать о любви уже поздно, о природе ты уже все что мог написал, об экзистенциальном кризисе писать нет никакого смысла, потому что он давно прошел и его прекрасно вылечила рыбалка и рюмка перцовки перед ухой из ершей и подлещиков, обо всем остальном... написали все остальные. Если все же и соберешь те немногие, что у тебя остались, мысли, каждой из которой нужно прислать повестку, как из военкомата, чтобы пришла, то окажется, что собравшихся раз-два и обчелся и нет кворума, чтобы написать хотя бы три простых предложения или одно сложносочиненное, или кворум будет, но выяснится, что кое-кто уже приходил, и не один раз, а потому нужно каждый раз мучительно вспоминать и перечитывать давно написанное и позабытое, чтобы выяснить кто приходил, в каком году, по какому поводу, и приходил ли один или приводил еще кого-то. Появляется привычка: перед тем как сесть писать спрашивать себя «зачем», вместо «о чем». После всех этих проверок на дорогах устаешь страшно, желание пропадает совершенно и начинаешь спрашивать себя сначала тихо, исподволь, а потом все громче и все настойчивее:

– Можешь не писать? Можешь?!

И сам себе отвечаешь, сначала тихонько, а потом все громче и все нахальнее:

– Могу! Раньше не мог, а теперь запросто.

Мысленно рвешь на груди рубаху и... усаживаешь себя писать и пишешь, пишешь, думая о том, что после третьего абзаца или даже после второго сделаешь перерыв и пойдешь пить чай с творожным кеком и читать интересный детектив или смотреть сериал, или пойдешь в магазин за сигаретами. Еще и спросишь у жены, не надо ли купить стирального порошка или картошки. После того как вернешься, долго раздеваешься, потом идешь на балкон курить, потом куришь, куришь, потом садишься за письменный стол и долго потираешь руки – как потирает передние лапки муха, проснувшаяся после зимней спячки, потом начинаешь шевелить над клавиатурой пальцами, как будто собираешься взять разбег уже в первом предложении, потом вспоминаешь, что про пальцы над клавиатурой ты уже писал лет пять или десять назад и... тут тебя зовут ужинать. Ты идешь есть и все думаешь, думаешь, что пора с этим делом завязывать, пора прекратить высиживать слова, причастные и деепричастные обороты, предложения, а потом их «леялить, холить, ласково поглаживая по подлежащему», и все равно они получаются несмешными... но как признаться в этом самому себе? Как?!

Жена, которая читает у тебя в голове как в открытой книге, говорит:

– Признайся мне, – и подкладывает в тарелку большую куриную отбивную, жареную в панировочных сухарях.

Хорошо, к примеру, физику – он только начинает свою работу, а уже перед ним лежат разные графики, формулы, статьи тех, кто уже думал, но не додумался, или додумался, но не смог провести нужный эксперимент потому что ускоритель был меньшего, чем нужно, диаметра, или провел, но не смог правильно объяснить и в уравнение вместо массы поставил энергию да еще и возвел ее в квадрат вместо того, чтобы извлечь корень... Хорошо историку – он еще и думать не начинал, а уже обложился летописями, ревизскими сказками, наградными листами, настоящими и поддельными завещаниями, статьями тех, кто искал, но не нашел, или нашел, но совершенно не то, что искал, или то, но не смог расшифровать, или расшифровал, но такое повылезало... Хорошо художнику – у него перед глазами всегда что-нибудь есть – или натурщица, или ваза с персиками и виноградом, или лошадь, или пыльная проселочная дорога, уходящая в небо, или заросшее камышом лесное озеро с выжившей из ума старой русалкой, или просто рюмка водки и ломоть черного хлеба, на который положены две кильки и несколько колец лука – хочешь пиши натюрморт, хочешь – выпей и закуси, а хочешь – напейся и приставай к натурщице. Только не перепутай ее с лошастью. Хорошо искусствоведам – ему и думать начинать не нужно – у него перед глазами уже написанная картина или гравюра, или целая картинная галерея и статьи тех, кто уже их описал, но остались еще неисследованные места с изнанок холстов или гобеленов и ходы, проделанные жучками-древоточцами в рамах...* Хорошо историку литературы – у него под рукой и романы с повестями и рассказами, и стихи, и письма, и мемуары тех, кто держал в каждой руке по две... нет, по три свечки, кто выпивал вместе с писателем, кто закусьвал, кто спал с ним или не спал, но из достоверных источников знает, что он храпел во сне, и статьи тех, кто не понял, в чем главная идея его произведений, или понял, но не смог описать своими словами, а заимствовал чужие, или описал своими, но так неудачно...

Только писателю плохо – перед ним чистый лист бумаги, на котором ничего не написано, а отступить, как бы ни был огромен или даже бесконечен лист, некуда. Позади семья, которая уверена, что можно было бы найти себе занятие, приносящее больше дохода, чем марианье бумаги, жена, у которой нет новых сапог, дети, которым нужны новые телефоны, позади долги и бесчисленные книги тех, кто уже давно все понял и смог описать своими словами, еще и расставил их так, как никто до него не расставлял, еще и жил на полтора года раньше, еще и был графом и не должен был ходить на работу, чтобы заработать на рюмку водки, кусок черного хлеба и килек с луком. Писатель собирается с духом, наскоро молится своему писательскому богу, а он у каждого писателя свой**, и вступает на минное поле чистого листа....

*Зря, конечно, так об искусствоведах. Думают они. К примеру, о том, как на деньги, полученные от гранта, напишут доклад и с этим докладом поедут на конференцию в какой-нибудь курортный город и там на семинарах с дешевым красным вином, разливаемым в пластиковые стаканчики, будут рассказывать молоденьким стажеркам какие темы диссертаций их ждут не дождутся, если... или это музыковеды... Черт их разберет.

**Писатели, особенно русские, в массе своей сущие язычники – кому и чему только они не поклоняются. До недавнего времени молились чернильницам и перьям, заговоренным монахами-библиотекарями Достоевского мужского ставрогинального монастыря, носили ладанки, в которых помещалась частичка пепла второго тома «Мертвых душ», амулеты, предохранявшие рукопись от дурного глаза критиков и собратьев по перу, клали стопки чистой бумаги под тома Чехова или Толстого... Что касается молитвы, то она у каждого писателя своя, написанная им соб-

стенноручно, и заучивает он ее наизусть, а бумажку с текстом уничтожает, чтобы не дай бог никто ее не украл и не воспользовался. Были случаи, когда молитвы успешных и знаменитых писателей крали и продавали за несусветные деньги писателям молодым и не знаменитым. В послевоенное время, когда писателей развелось видимо-невидимо, существовал даже черный рынок этих молитв, но он быстро рассыпался из-за огромного количества наводнивших его подделок. Вроде и молитва точно та самая, что была, скажем, у самого Ильфа и Петрова, которую они читали вдвоем перед началом написания «Двенадцати стульев», и слова в ней на тех же местах, и прочтешь ее не меньше трех раз, и лоб о письменный стол расшибешь кланяясь, но достаточно одну запятую переставить, не говоря о слове, и... станешь писать – и получается такая «Мать»... или даже «Цемент»...

В Москве все кончается обедом. Это в Питере все кончается чашкой эспрессо в два наперстка, маленьким пирожным, которое можно съесть взглядом, еще не донося до рта, и долгим, как питерские сумерки, разговором о проблемах поэтики Достоевского, о сопоставлении писем Макара Девушкина Вареньке с письмами Достоевского жене, и приятным послекусием от долгого пережевывания рассуждений Бахтина, а в Москве... То есть поначалу-то все как в Питере – вернисаж, разговоры о Малевиче, Шагале, о влиянии баухауса на авангард, арьергард и дизайн советских настольных ламп, споры о социалистическом сюрреализме, но между проекционизмом Тышлера и формализмом Лабаса вдруг протискивается официант и, склонившись над тобой как нянька над ребенком, спрашивает, какой хачапури ваша компания будет заказывать – по-аджарски, по-мегрельски, или по-мегрельски, но с тремя видами сыра, и к супу харчо, конечно, рюмку сливовой чачи каждому или сразу бутылку на всех, и потом люля-кебаб из баранины на лоскутке лаваша, усыпанный зернами граната и колечками красного лука, а Пименов... Пименов со всеми его сталинскими и ленинскими премиями, со всеми его свадьбами на завтрашней улице и лирическими новосельями против Тышлера все равно что плотник супротив столяра, не говоря о Лабасе или Фальке, но... чурчхелу к чаю не нужно – лучше яблочко-ореховый штрудель с шариком ванильного мороженого и рюмку коньяка. Что же до приятного послекусия, то оно, конечно, непременно будет, если принять какую-нибудь таблетку от изжоги ...

Не разгрома Иван Третий Новгородскую республику в Шелонской битве, не потопаи его внук Новгород в крови, еще неизвестно, как оно все повернулось бы. Новгородцы уже в двенадцатом веке ходили в Сибирь за Камень, то есть за Уральские горы. Собственно говоря, и Москва осваивала Сибирь если не с помощью новгородцев, то с помощью их потомков. Ушедшие от репрессий Ивана Грозного на восток в дремучие леса новгородцы основали купеческие династии Устюга Великого, Сольвычегодска, Лальска, Тотьмы, а уже их дети и внуки в поисках пушнины добрались до самых Алеутских островов. В конце концов и предки Строгановых, организовавших и оплативших сибирский поход Ермака, были родом из поморов, живших на территории Новгородской республики.

Вот и прирастала бы Новгородская республика Сибирью. Сначала пушнина, потом нефть, потом алмазы... Ходил бы теперь по Северному морскому пути атомный ледокол «Марфа-посадница». Герцену, чтобы издавать свой «Колокол», не пришлось бы ехать за тридевять земель, к англичанам. Приехал бы в Новгород, арендовал помещение для своей вольной типографии, сфотографировал вечернюю колокол на первую страницу газеты и давай, зови Русь к топору. Ливонской

войны наверняка бы не было. Новгород не столько Москва, сколько Пекин в том смысле, что не столько война, сколько торговля и потому выход к Балтийскому морю купили бы у Ливонского ордена. Конечно дорого, что и говорить, но если покупать сразу Ригу и Ревель с Нарвой, то можно добиться скидки. Опутали бы рыцарей кредитами... и десяти лет не прошло бы, как Орден превратился бы в медаль, а там и просто в почетную грамоту. Еще и берестяную. Вот только Псков был бы наособицу. Не друг и не враг, а так... То ли посредник между Новгородом и Москвой, то ли агент Кремля...

Москва, конечно, не успокоилась бы. У Москвы и в заводе такого нет, чтобы успокаиваться. То войной пойдет, то торговые новгородские караваны ограбит, то остяков с вогулами и чукчей с камчадалами начнет подстрекать к бунту. Новгородцы по примеру китайцев построят Великую Сибирскую Стену через всю Сибирь до самой Камчатки. Не сами, конечно. Наймут китайцев – у тех и опыт, и строителей столько... Потом их лет сто будут выпроваживать домой, но так и не выпроводят. По сибирским рекам за Стену станут проникать казаки и там, в застенках, нападать на новгородские фактории, на склады с мехами, солью и намытым золотом. Новгородцы в долгу не останутся – наймут немецких и датских солдат удачи и раздадут им сибирских вотчин в пристенных районах, как Москва раздавала вотчины детям боярским возле Засечной черты. Немцы начнут мешаться с ненцами. Потом, в двадцатом веке, все репатрируются в Германию. Там будут жить наособицу, в стойбищах. Перейдут на трехразовое питание. Сердобольные немцы купят им оленей в Сибири, чтобы те могли заниматься... чтобы не морочили им головы, а датчане их просто к себе не пустят. Датчан мало, а немцев много. Еще и с оленями. Создадут какую-нибудь Ямало-ненецкую область, потребуют себе коридор вроде данцигского из Копенгагена в Берлин или на малую родину – в Западную Сибирь... Нет, не пустят.

Одна беда – в устье Невы город Санкт-Петербург уже не заложить, а без культурной столицы какая империя... Петр Алексеевич, конечно не успокоится – заложит город в другом месте. Нужно место болотистое, в дельте реки, у моря. Азов не подойдет – там не море, а одно название. По всему подходит Астрахань. Отсель можно грозить и персам, и индусам, и туркам, и даже афганским пуштунам, если знать, что они существуют. В этом плане все они ничуть не хуже шведов, а индусы еще и лучше – им можно грозить сколько угодно. Они вообще не поймут, о чем речь. Да и сапоги в теплом Индийском океане мыть куда приятнее, чем в холодном Балтийском море. Преимуществ может оказаться много, и даже самых неожиданных. К примеру, в жарком и сухом астраханском климате никогда не заведется такой писатель как Достоевский. Он, конечно, проживет какое-то время в столице, напишет «Черные ночи», опубликует их в «Южной пчеле» и уедет в Старую Руссу к своим братьям – Ивану и Дмитрию Карамазовым. Вообще классическая русская литература станет светлее и радостнее. В ней будет больше арбузов, черной икры, осетрины, сладких помидоров и воблы. Гоголь не уедет в Рим. Ему и в Астрахани будет тепло. Правда, мы, скорее всего, лишимся «Шинели», и последующим поколениям писателей не из чего будет выходить... Ну, это не смертельно. В конце концов есть еще халат Обломова, из которого и выходить не хочется.

И вот еще что. Никаких философских пароходов до Гамбурга в двадцать втором году не будет. Всех посадят на баржи и отбуксируют вверх по Волге до Белозерска, а там уже будет проходить граница Новгородской республики. Или где-то там. Если, конечно, по дороге ничего не случится. Баржи будут старые, ветхие – только успевай воду из трюмов откачивать. Не приведи Господь шторм или даже просто ветер с проливным дождем...

Все же рюмка водки и селедка с луком, или жульен из грибов с курицей и рюмка водки, или рюмка водки и кусок севрюги с хреном, или даже сваренная вкрутую половинка перепелиного

яйца с ложкой черной икры сверху и рюмка коньяка – блюда несамостоятельные, напоминающие причастный оборот в сложносочиненном предложении. После них непременно должен следовать обед со щами, бараньим боком с кашей, ватрушками величиной с тарелку и вареньем из редьки, вареной в меду. Другое дело рюмка домашней настойки на ржаных сухарях и малосольный огурец – это высказывание цельное. Выпил, закусил – и все, и тихонько закрыл дверь холодильника, а на вопрос жены, что ты там делаешь на кухне и чем хрустишь, отвечаешь, что сушками с маком, которые вы купили месяц назад, да и забыли про них, положив пакет по ошибке в шкафчик с посудой.

...и в восемьдесят девятом году, после яростных споров, решили не восстанавливать храм Христа Спасителя, а возвести над бассейном дворец, но не Советов, а русской литературы со стометровой статуей Пушкина на крыше, поскольку наше все – он, а не Ленин, который, как и Достоевский, наше не приведи Господи. Нашли в музее истории архитектуры покрытые пылью чертежи Иофана, и стали над ними думать. Конечно, перед тем как начать думать, создали комиссию из писателей, пушкинистов, архитекторов, общественных деятелей разных мастей, академиков и части депутатов Московской городской Думы. Поэтов решили в комиссию не брать, потому как доподлинно известно, что толку от них в комиссиях и на заседаниях...

Напридумывали самого разного. Конечно, самую большую в мире поэтическую библиотеку, зал поэтической славы с автографами знаменитых поэтов, написанных медью на мраморе, зал для выступлений и состязаний, еще один для пения стихов под музыку, театр для постановки пьес, написанных стихами, помещения для литературного музея и для отдельного музея Пушкина, издательств, книжных магазинов и редакций толстых литературных журналов. Додумались даже до планетария и обсерватории в голове Александра Сергеевича с зеркальным телескопом и коронографом. На внешней поверхности головы, среди бронзовых кудрей, антенн сотовой связи, радиолокаторов и красных сигнальных огней предполагалось устроить маленькую площадку, с которой можно было бы прокричать в небо: «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?» или просто читать свои стихи созвездия Гончих Псов, или туманности Андромеды, или среди миров в мерцании светил повторять имя какой-нибудь звезды, известной тебе одному.

Когда делили еще не построенные помещения для редакций журналов, поругались в первый раз. Во второй поругались, когда решили на сто двадцать втором и сто двадцать третьем этажах устроить мастерские для выдающихся современных поэтов и служебные апартаменты владельцев некоторых журналов и издательств. Именно мастерские, а не квартиры, которые можно потом выкупить или передать по наследству. Само собой, постановили образовать еще одну комиссию, которая составит список выдающихся и владельцев. Ругаться начали еще во время выборов в комиссию, а когда дошли до обсуждения квартирного вопроса, который, как давно известно, испортил москвичей, то ругань перешла в драку. В третий раз поругались, когда писатели предложили оставить бассейн, над ним разместить поликлинику Литфонда, кабинеты физиотерапии, перевести с Большой Никитской Центральный дом литераторов с рестораном и договорились даже до рюмочной*, в которой из уважения к памяти великого поэта наливали бы бесплатно членам писательского профсоюза французское шампанское... но по плану московских властей на первом этаже вместо бассейна предполагалось устроить двухуровневую подземную парковку с автомойкой, над ней торгово-развлекательный центр, над ним департамент культуры московского правительства, над департаментом деловой центр, этаж над деловым центром отдать управлению по капитальному строительству самого памятника и его обслуживанию... Правду говоря, в третий раз даже поругаться толком не успели – сразу начали драться.

Потом выяснилось, что музей Пушкина не хочет переезжать в памятник, потому как ему и на своем прежнем месте в усадьбе девятнадцатого века хорошо, а союз писателей России требует, чтобы между его этажом и этажом, на котором поместится союз писателей Москвы, в котором кишмя кишат либералы и безродные космополиты, было как минимум два этажа, потом выяснилось, что подземную парковку, не дожидаясь утверждения проекта, уже начали строить, потом долго выясняли, кому же принадлежит земля, на которой собрались строить дворец с памятником, а когда выяснили, то оказалось...

Пока ругались, пока выясняли кому положены мастерские, кому служебные апартаменты, а кому только стул в рюмочной, в городскую думу стали одно за другим поступать письма от граждан, в которых говорилось, что памятник Пушкину у них уже есть, и не один, тратить народные деньги, тем более такие огромные, на еще один памятник нет никакого смысла, а потому лучше восстановить то, что было разрушено в тридцать седьмом. Требовали распустить комиссию, которая только бутербродов с красной рыбой и икрой на каждом заседании съедает до полусотни, не говоря о бутербродах с копченой колбасой и напитках. К письмам граждан прибавились коллективные обращения в Думу деятелей культуры, науки и спорта. Кончилось все известно чем... Правду говоря, оно и не могло кончиться по-другому. Хорошо еще, что успели вовремя спрятать чертежи Иофана потому как горячие головы порывались их вовсе сжечь.

*Предлагали разные варианты названия рюмочной – и «Капитанская дочка», и «Выстрел», и «Гавририада», и «Кастальский ключ», и даже «Маленькие трагедии». По этому поводу писатели перепились и переругались между собой еще до заседания комиссии.

Принести домой из лесу охапку самых разных слов – голубых, белых, золотых, янтарных на просвет, паутинчатых, на суставчатых лапках приставок и окончаний, прощальных, задумчивых, плакучих, туманных, дождливых, ветреных, легких на подъем, улетающих за тридевять земель от одного только холодного взгляда, тронутых первыми заморозками, посеребренных инеем, покрытых ледяной глазурью, тонко и бархатно грустных, скучных, сонных, серых, шуршащих, сладко и терпко пахнущих опавшей листвой, грибами, дымом, прозрачных, не требующих ответа, с приятной горчинкой, просто горьких, и шариковой ручкой или карандашом навязать из них затейливых кружев. Выложить все связанное на чистый лист бумаги, посидеть над ним полчаса или час, пытаясь расставить лучшие слова в лучшем порядке, походить из угла в угол, полежать на диване, посмотреть в окно, полить цветы, поменять мох в горшке с орхидеей, подсыпать ей сосновой коры, посмотреть в окно, поговорить с женой, перестать с ней спорить, сделать так, как она сказала, помыть посуду, выбросить мусор, вернуться к письменному столу, взять еще один чистый лист и на него пересыпать слова с первого, накрыть второй лист первым и пойти лечь спать. Через неделю или две заглянуть под первый лист и, даже не начиная спорить с женой, пойти мыть посуду.

С возрастом начинаешь больше ходить – приходишь куда-нибудь и никак не можешь вспомнить зачем. Приходится возвращаться туда откуда пришел и вспоминать зачем. Постоишь там, постоишь и... сядешь потому, что в ногах правды нет, а в том месте, где она должна была быть, образовалось отложение солей. Посидишь, посидишь, придумаешь себе новое, за чем и пойдешь куда-нибудь еще. Постоянно хочется позвонить очкам, ключам, таблеткам от давления, которые

нужно принимать за полчаса до еды, и строго спросить – где вы, черт побери, валяетесь вместо того, чтобы давно лежать под языком. Из снов пропадают дальние страны и острова сокровищ. В детстве они могли быть на соседней улице, в зарослях лопухов, в парке, а теперь... Тогда и клад можно было найти в ямке, вырытой под деревом во дворе и накрытой осколком стекла. О полетах во сне и говорить нечего – даже на бредущем не можешь пролететь и трех метров. Руками, конечно, машешь и подпрыгиваешь изо всех сил, но кончается все тем, что жена переворачивает тебя на другой бок, чтобы не храпел так сильно. И эти вода с травой, которые раньше были мокрее и зеленее... Правда, дожди в те почти безоблачные времена кончались быстрее и были всегда летними, проливными и теплыми. Легкость в мыслях была... а теперь можешь одну мысль думать и день, и два... На третий день плюнешь в сердцах и вспомнишь, что на послезавтра записан на прием к ортопеду и пора начинать собираться, чтобы не опоздать. Лет в двадцать или даже в двадцать пять не успеваешь додумать одну мысль, как ее уже и след простыл – улетела. Начинаешь другую думать, а за ней третью... И все разноцветные. Вроде сладких горошин. Теперь не так – теперь все черно-белые и все неотвязные. О вкусе и говорить нечего. Таблетки от давления – и те слаще. Добро бы лежали себе тихонько в голове и зарастали мхом, но нет – ворочаются, особенно по ночам. Наконец, точка зрения, которая в молодости могла расплываться, превращаться в точку с запятой, в многоточие и легко меняться на противоположную, теперь отвердела, заржавела, прикипела к одному месту, и ее не вырубить топором.

Бог с ней, с точкой зрения. Пусть себе ржавеет. Не вырубать же ее в самом деле топором. Пойдем пить чай с мятой и улитками из слоеного теста с изюмом и заварным кремом, в который жена всегда добавляет немного темного ямайского рома. Такого, послевкусие которого наполнено мягкими и немного обжигающими нотами карамели, дыма и тропических фруктов. С возрастом начинаешь кое-что понимать в чае с мятой, в улитках из слоеного теста, в заварном креме с добавкой ямайского рома и особенно в послевкусии с мягкими и немного обжигающими нотами карамели, дыма и тропических фруктов.

Снег идет и идет...
Тишина понемногу белеет
Превращаясь в безмолвие

Снег идет и идет...
Понемногу белеет и стынет
Превращаясь в безмолвие
Наше молчание